

Викентий Вересаев

ХУДОЖНИК ЖИЗНИ



Живая жизнь

Викентий Вересаев

Художник жизни

«Public Domain»

1921

Вересаев В. В.

Художник жизни / В. В. Вересаев — «Public Domain»,
1921 — (Живая жизнь)

«В письме к одной своей приятельнице Гюстав Флобер пишет: «Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор». Эрнест Фейдо передал Флоберу просьбу одного своего знакомого писателя прислать ему автобиографию Флобера. Флобер отвечает: „Что мне прислать тебе, чтоб доставить удовольствие моему анонимному биографу? У меня нет никакой биографии“...»

Содержание

I	5
II	7
III	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Викентий Вересаев

Художник жизни

(О Льве Толстом)

I

В письме к одной своей приятельнице Гюстав Флобер пишет: «Я опять возвращаюсь в мою бедную жизнь, такую плоскую и спокойную, в которой фразы являются приключениями, в которой я не рву других цветов, кроме метафор». Эрнест Фейдо передал Флоберу просьбу одного своего знакомого писателя прислать ему автобиографию Флобера. Флобер отвечает: «Что мне прислать тебе, чтоб доставить удовольствие моему анонимному биографу? У меня нет никакой биографии».

Так, в общем, мог бы ответить любой из писателей, особенно из писателей нашего времени, когда писательство стало специальностью. В большинстве случаев жизнь писателей сама по себе удивительно неинтересна. Обидно неинтересна. И они совершенно не заслуживают биографии. Все интересное, все глубокое и прекрасное, все живое, что в них есть они вкладывают в свои книги, и для жизни ничего не остается. Прочтите биографии Гейне или Бодлера, Ибсена или Достоевского, вычеркните в них все, что непосредственно относится к писательству, – и какая останется скучная, серая обыденщина! Если она иногда и прерывается каким-нибудь ярким, катастрофическим событием, то это является только случайностью, как, например, случайностью была, по собственному признанию Достоевского, его каторга.

Это отсутствие биографии у современного писателя не случайно, оно является естественным следствием писательства, как ремесла, я бы сказал, – следствием слишком высокой оценки своего писательского призвания. Писательство, это – все! Писатель прежде всего есть писатель! Бальзак поучает Теофиля Готье, что писатель должен чуждаться женщин. Готье рассказывает: единственная уступка, на которую Бальзак соглашался и то с сожалением, это, чтобы видиться с любимой женщиной по полчаса в год. Переписку он допускал: «Это вырабатывает стиль». Братья Гонкуры в одном месте своего дневника высказывают сожаление о солнечном дне, отданном ими наслаждению весною вместо работы. Виктор Гюго превратил себя в своего рода заведенный механизм, существует по циферблату, чтоб ничем не нарушить правильности своей работы. В определенный час он позволяет себе небольшую прогулку, но всегда по одной и той же дороге: пойдя другим путем, можно, пожалуй, опоздать на минуту. Флобер работает по шестнадцать часов в сутки, не отрываясь от стола.

Флобер в этом отношении вообще особенно характерен. Переписка его дает богатейший материал для характеристики душевного строя специалиста писателя. «Литература, – пишет он, – стала у меня конституциональною болезнью; нет средств избавиться от нее. Я одурел от искусства и эстетики, для меня невозможно дня прожить свободно от этой неизлечимой язвы, которая меня грызет». – «Жизнь моя, – пишет он в другом письме, – была очень плоской и благоразумной, – по крайней мере, в действии. Что касается внутренних переживаний, – о, это дело другое! Я истощился, скача на одном месте (*je me suis use sur place*. – курс. автора), как лошади, которых дрессируют в конюшне; это ломает им ноги». «Молодость моя, – пишет он еще, – была прекрасна по своим внутренним переживаниям. Огромная вера в себя, великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности. У меня было сердце, широкое, как мир, и я вдыхал все ветры неба. А потом, мало-помалу, я ссохся,

заработался, завял. О, я обвиняю в этом только себя! Я находил удовольствие в подавлении своих чувств и в терзании сердца. Я отталкивал человеческие опьянения, которые мне представлялись. С остервенением я с корнем вырывал из себя человека обеими руками, – обеими руками, полными силы и гордости. Из этого дерева с зеленеющей листвою я хотел сделать колонну, совершенно нагую, чтобы на вершине ее возжечь, как на алтаре, я не знаю, какое небесное пламя».

Мать Флобера однажды сказала ему:

– Чрезмерная страсть к фразам иссушила твое сердце.

И на эти убийственные слова он, высохший для жизни обожатель фраз, находит в сердце только такой отклик: «Великолепные слова! Муза должна повеситься от зависти, что не она их изобрела!»

Можно умиляться на самоотверженную жизнь таких «подвижников искусства», как их многие называют. Для меня она представляется ужасною. Где же человек с его широкими, разносторонними потребностями души, где он сам, вне его книг? Как, наконец, не понять, что и творение писателя только тогда будет проникнуто живым трепетом и светом жизни, когда жизнь самого писателя действительна, глубока, ярка, звучит всеми доступными человеку струнами? А. О. Смирнова приводит в своих записках такие слова Пушкина: «Греки, может быть, писали меньше, чем мы, и даже наверное меньше. Это и отличает их от нас, современных людей. Мы слишком литературны, – в том смысле, что мы только писатели, что мы живем вне всяких человеческих и общих интересов... Это была счастливая эпоха, когда именно мало занимались литературой, а просто жили, – и жизнь создавала произведения, отражавшие ее».

Флобер говорит: «Я истощился, скача на месте»... «У меня нет никакой биографии»... У Льва Толстого есть биография, – яркая, красивая, увлекательная биография человека, ни на минуту не перестававшего жить. Он не скакал на месте в огороженном стойле, – он, как дикий степной конь, несся по равнинам жизни, перескакивая через всякие загородки, обрывая всякую узду, которую жизнь пыталась на него надеть... Всякую? Увы! Не всякую. Одной узды он вовремя не сумеет оборвать... Но об этом после.

Как всякий живой человек, Толстой не укладывается ни в какие определенные рамки. Кто он? Писатель-художник? Пророк новой религии? Борец с неправдами жизни? Педагог? Спортсмен? Сельский хозяин? Образцовый семьянин? Ничего из этого в отдельности, но все это вместе и, кроме того, еще много, много другого.

II

Я не буду останавливаться на детстве Толстого. В детстве все мы – живые люди; в детстве все мы, как Толстой, кипим, ищем, творим, живем. Вон даже Флобер, и тот знал в детстве «великолепные порывы души, что-то бурное во всей личности».

Вот – Толстой-юноша. Он живет в Казани; сначала готовится в университет, потом становится студентом. «Единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование», вспоминает Толстой в своей «Исповеди». – «Я старался совершенствовать свою волю, – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению». В «Отрочестве» он рассказывает: «Несмотря на страшную боль, я держал по пяти минут в вытянутых руках лексикону Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах».

Рядом с этим – другого рода совершенствование, – фанатическое, почти религиозное самоусовершенствование в искусстве быть человеком *comme il faut*. Великолепный французский выговор, длинные, чистые ногти, умение кланяться, танцевать и разговаривать, постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки на лице. Однажды идет Толстой с братом по улице, навстречу едет господин, опершись руками на палку. Толстой пренебрежительно говорит брату:

– Как видно, что этот господин какая-то дрянь!

– Отчего?

– А без перчаток.

Толстой студент усердно посещает все великосветские балы и собрания, всюду танцует, ухаживает за дамами, весь отдается наслаждению жизнью. Вспоминателям и биографам очень хочется рисовать жизнь Толстого, как житие пророка. Н. П. Загоскин, в своих воспоминаниях о студенческой жизни Толстого в Казани, пишет, что Толстой «должен был» чувствовать «инстинктивный протест» против окружавшей его развращающей среды. В своей биографии Толстого П. И. Бирюков приводит эти слова Загоскина. Толстой в рукописи просматривал работу Бирюкова. И живой человек, возведенный в сан пророка, с добродушною усмешкою разрушает стройное здание своего «жития» и делает на полях рукописи такое замечание: «Никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе». Далее Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшего устоять против всех этих соблазнов. Толстой замечает: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолodu быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».

Рассеянная светская жизнь далеко не поглощает всех сил Толстого. Он в то же время много работает, читает, думает; пишет статью «О цели философии». В 1847 году он выходит из университета. Почему? Одна из причин была та, что уезжал из Казани брат его Николай; вторая причина, – очень характерная для Толстого, никогда не любившего ходить в жизни проторенными дорожками. Профессор гражданского права Меер задал ему работу, – сравнить «Наказ» Екатерины с «Духом законов» Монтескье. Толстой увлекся этой работой. «Она открыла мне, – вспоминает он, – новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».

Следующие три-четыре года Толстой проводит в Москве и Ясной Поляне. Жадно и бурно отдается наслаждению жизнью. Светские удовольствия, охота, связи с женщинами, увлечение цыганками и особенно картежная игра. Она была едва ли не самой сильной из его

страстей, и случалось, проигрывался он очень жестоко. Эти периоды бурного наслаждения жизнью сменяются припадками религиозного смирения и аскетизма.

В 1851 году он уезжает на Кавказ юнкером. Живет в станице, дружит с казаками, ухаживает за казачками. Кутит, играет в карты, играет своею жизнью. Отправляется в рискованные экскурсии. Однажды неприятельская граната разорвалась у самых ног Толстого, разбив колесо и лафет пушки, при которой Толстой был «уносным фейерверкером». Уж в глубокой старости Толстой несколько раз вспоминает об этом случае и в письмах, и в дневнике: «Если бы дуло пушки, из которой вылетело ядро, на одну тысячную линию было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит». В другой раз, во время «сквозной оказии» на Грозную, Толстой чуть не попал в плен к чеченцам и только, благодаря лихости своего коня, ускакал от них со своим кунаком, мирным чеченцем Садо. В это же время в «Современнике» появляется первое литературное произведение Толстого «Детство» и обращает на себя внимание всех любителей литературы.

Толстой переводится в дунайскую армию, действующую против турок, участвует в осаде Силистрии. Он захлебывается огромными впечатлениями жизни. «Сколько я переузнал, перечувствовал в этот год!» – пишет он брату Сергею. Начинается севастопольская кампания. Толстой спешит перевестись в Крым. Один из бывших боевых товарищей его вспоминает: «Толстой своими рассказами и куплетами воодушевлял всех в трудные минуты боевой жизни. Он был в полном смысле душой батареи. Толстой с нами, – и нет конца общему веселью. Нет графа, укатил в Симферополь, – и все носы повесили. Возвращается мрачный, исхудалый, недовольный собою. Отведет меня в сторону подальше и начнет покаяние, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, – казнится и мучится, как настоящий преступник». В бригаде Толстой оставил по себе память, как ездок, весельчак и смельчак. Так, он ложился на пол, на ноги ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, поднимал его вверх. На палке никто его не мог перетянуть. Толстой выдерживает знаменитую севастопольскую осаду, обращает на себя общее внимание своею храбростью. В «Современнике» появляются его рассказы «Севастополь в декабре», «Севастополь в мае» и производят сенсацию. Вдова Николая I плачет над этими рассказами, Александр II приказывает перевести их на французский язык.

После сдачи Севастополя Толстой был послан курьером в Петербург. Он приехал, окруженный двойным ореолом, – героя, вышедшего из ада осажденного Севастополя, – и восходящего литературного светила первой величины. «Вернулся из Севастополя с батареи, – рассказывал Тургенев Фету, – остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой». Петербургская литературная семья приняла Толстого с распростертыми объятиями. Семья эта была очень блестящая: Тургенев, Некрасов, Гончаров, Островский, Григорович, Фет... Но не застенчивым новичком, ослепленным блеском ярких имен, вступает Толстой в эту заповедную среду. «С первой минуты, – рассказывает Фет, – я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений». – «Какое бы мнение ни высказывалось, – сообщает Григорович, – и чем авторитетнее казался Толстому собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывает не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника». Всех он ворошит, задирает, раздражает, – и всех поражает огромностью стихийно кипящего в нем таланта. Писемский мрачно говорит: «Этот офицеришка всех нас заключает, хоть бросай перо!»

В ноябре 1856 г. Толстой выходит в отставку. Ну, теперь жизнь писателя определена. Общепризнанный талант, редакции наперебой приглашают его в свои журналы. Человек он

обеспеченный, о завтрашнем дне думать не приходится, – сиди спокойно и твори, тем более, что жизнь дала неисчерпаемый запас наблюдений. Перебесился, как полагается молодому человеку, теперь впереди – спокойная и почетная жизнь писателя. Гладкий, мягкий ход по проложенным рельсам. Конец биографии.

Но не так у Толстого. Биография только начинается. Да, он пишет, одно за другим дает произведения, вызывающие все большие надежды. Но вместе с тем уезжает к себе в деревню и страстно берется за сельское хозяйство. Вводит всяческие улучшения, дело кипит. Но за что ни возьмется, всего ему мало. Брат его Николай рассказывает Фету: «Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. Конечно, если отбросить предубеждения, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело иначе: «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкою за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». На глазах Толстого рабочие пашут, косят, молотят; среди них выдается красотою и уверенностью работы один работник, Юхван. И уж, конечно, простым зрителем Толстой оставаться не может: ему непременно нужно всему этому научиться, и научиться как можно лучше, чтоб работать не хуже самого Юхвана. И он с увлечением «юхванствует», перенимает все приемы Юхвана, ходит за сохою, растопырив локти, как Юхван. Это выражение – «юхванствовать» навсегда осталось в семье Толстого для обозначения увлечения его сельско-хозяйственными работами. Страстно увлекается он также охотою. Однажды Толстой чуть не погиб от медведицы. Она повалила его в снег и начала грызть голову, – прорвала ему щеку под левым глазом и сорвала всю левую половину кожи со лба. В то же время Толстой начинает заниматься в школе с крестьянскими детьми.

Товарищи-писатели, суть жизни своей видящие в писательстве, с усмешкой разводят руками, глядя на этот огромный талант, как будто так мало придающий себе значения. Тургенев пишет Фету: «А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уж ему написано на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги?»

А Толстой, весь захваченный жизнью, как будто совсем забывает о писательстве, – он уже автор «Детства и отрочества», кавказских и севастопольских рассказов, «Трех смертей», «Семейного счастья». И товарищи из сил выбиваются, стараясь направить заблудшего на «настоящий путь». Дружинин пишет ему в 1860 году: «На всякого писателя набегает минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у Вас все стремления, и добрые и недобрые, держатся с особым упорством, потому Вам нужнее, чем кому другому, подумать о том. Прежде всего вспомните, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Qui a bu, boira и в тридцать лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов жизни».

Но в том-то и особенность Толстого, что нет для него живого труда, который бы мог ему показаться дрянью, раз он захватил его душу. И вот он, – художник, – едет за границу с специальною целью изучить постановку там школьного дела. Объезжает Германию, Швейцарию, Италию, Францию, Англию, Бельгию. Жадно, как всегда, ловит впечатления. «Я везу, – пишет он своей тетушке Т. А. Ергольской, – такое количество впечатлений, знаний, что я должен бы много работать, прежде чем уложить все это в моей голове».

В Россию Толстой возвращается в апреле 1861 года, в самый разгар радостного возбуждения и надежд, охвативших русское общество после манифеста 19 февраля об освобождении крестьян Толстой рассказывает: «что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемиче-

ским, и что, если я тогда был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами – теми, которые привели меня к школе и общению с народом».

Всею головою Толстой уходит в самую разностороннюю деятельность, – занимается сельским хозяйством, работает в качестве мирового посредника, вызывая злобу и доносы дворянства; главным же его делом теперь становится народная школа. Он открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам занимается с ними, пишет ряд статей о народном образовании, издает педагогический журнал «Ясная Поляна». Как всегда у Толстого, все у него ново, своеобразно, дерзко, ко всему свой подход вне всякого шаблона. Не будем оценивать педагогических взглядов Толстого. Но посмотрите, как все оригинально и необычно в этой школе, созданной Толстым, как непохоже на школу, какою мы привыкли ее себе представлять.

«На деревне встают с огнем, – пишет Толстой. – Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и в тумане, дожде или в косых лучах осеннего солнца появляются на буграх темные фигурки. С собою никто ничего не несет, – ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу». И послушайте, каким образом происходит преподавание в этой школе. Вот перед нами, так сказать, амбулаторный урок народоведения. Толстой вечером выходит с ребятами из школы.

«На дворе было не холодно, – зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. Мы пошли через лес. Дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из вида. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Я стал рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачиваясь здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть, по своей бедности, всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу. Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк, – нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня слегка рукавом, потом всей рукою вдруг ухватил меня за два пальца, и уж не выпускал их. Только что я замолкал, Федька уж требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания.

«– Ну, ты, суйся под ноги! – сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие. – Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!

Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне.

– Пойдем еще, – заговорили все, когда уже стали видны огни. – Еще пройдемся!

Мы шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами, тучи были низкие; конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. Семка спросил:

– Зачем же он песню запел, когда его окружили?

– Ведь тебе сказывали, – умирать собрался! – огорченно ответил Федька.

– Я думаю, что молитву он запел, – прибавил Пронька.

Все согласились. Мы остановились в роще за гумном, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы... Мне странно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все что сказать можно о пользе, о красоте нравственной и пластической».

Да, счастлив был Толстой, что умел так описать все это. Но еще более счастлив он был, что умел все это пережить, что умел извлекать из жизни такие радости!

III

В сентябре 1862 года в жизни Толстого происходит событие, оказавшее огромное влияние на всю его последующую жизнь. Он женится на восемнадцатилетней девушке Софье Андреевне Берс.

К браку Толстой всегда относился очень серьезно, почти благоговейно, и видел в нем очень важный акт жизни. Еще в 1854 году он пишет брату Сергею с батареи около Севастополя: «Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, и могу совсем загубить и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю». В 1856 году он пишет одной девушке, бывшей некоторое время почти что его невестой. «От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые, женись, думают: «ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди». Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я не найду совершенно счастья, то я погублю все, — свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.